

Виктория Сурина



ЖИКИМОРА

Виктория Сурина

Кикимора

«Автор»

2026

Сурина В.

Кикимора / В. Сурина — «Автор», 2026

Знаете, кто лучше всех помнит историю семьи? Не бабушкины сундуки и не церковные книги, а та, что живёт за печкой – Кикимора. Четыреста лет назад странники пришли на пустую землю, поставили избы, завели хозяйство. А под порогом родилась она – не злая, не страшная, просто домашняя. Она путает пряжу, прячется в курятнике и бьет посуду – но только чтобы повеселится. С ней проще договориться, чем попытаться победить. Кикимора наблюдает за родом изнутри: нянчит детей, заплетает косы невестам и закрывает глаза мертвецам. Она знает про них больше, чем они сами, а они не понимают, как без нее жить. Это семейная сага не о войнах, горе и репрессиях. Она о том, что люди всегда возвращаются туда, где их ждут. А еще о том, что даже кикимора может стать верным хранителем очага – если, конечно, ее не злить. Роман с запахом свежего хлеба, парного молока и скошенной травы. Основано на реальных событиях.

© Сурина В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	15
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Виктория Сурина

Кикимора

Глава 1

Пилигримы

Они шли. Шли мимо погостов и капищ, мимо острогов и кладбищ, через леса и поля, через города и деревни, вдоль рек и оврагов, по пояс в траве и по песчаным бродам. Шли по пустынной дороге, не помня, где она началась и не ведая, где завершится. Шли, вздымая пыль, меся грязь, сбивая босые ноги об острые камни, не останавливаясь на привалы и ночлеги, бросая в придорожных канавах отставших, прося милостыню и воруя, чтобы прокормить себя и детей, что несли на руках. Шли под дождем и снегом, в зной и в стужу, подгоняемые ветром и гонимые им, под палящим солнцем и холодным лунным светом, не соблюдая праздников и воскресений, не молясь никаким богам и не внимая колокольному звону. Брели, ни с кем не заговаривая, никому не жалуясь, никого не беря в попутчики и в расчет. Скорбно, со скарбом, что только могли унести, в лохмотьях, едва прикрывавших чресла, кутаясь в соломенные плащи и шкуры тех, кому не посчастливилось перейти им дорогу.

Изгнанники ли, беженцы ли, пленники ли – они так долго шли, что совсем потерялись, и едва б могли ответить какого они роду-племени и как их зовут. Они молча, не прекословя и ничего не спрашивая, покорно следовали за пегим хвостом пегой кобылы и всадником в татарском платье, сидящим на ней. Он спал и ел прямо в седле, задавая неумолимость и бесконечность их движению. Ему было все равно и им должно было быть тоже. И они старались, ведь отставшим не полгалось могил – утробы волков и собак становились их последним приютом.

Но однажды кобыла и всадник остановились. Так резко и неожиданно, что они едва не упали. Привыкнув к бесконечному движению, они теперь удивленно оглядывались и перешептывались, нервно перебирая ногами, не помня уже как стоять спокойно, совсем не шевелясь.

Пегая кобыла опустила голову вниз и принялась чинно и важно щипать мягкими губами только-только пробившуюся травку. Она фыркала и покачивала головой, отгоняя истосковавшихся по теплой крови мошек. Кобыла больше никуда не торопилась, кажется, она пришла туда, куда собиралась изначально.

Всадник в татарском платье не мешал кобыле есть, он тоже был занят. Обозревал окрестности, приставив ко лбу правую руку, а левой придерживая нагайку на луке седла. Он будто бы намеревался хлестнуть плетью любого, кто посмеет обогнать его и пойти дальше самовольно. Но смельчаков не находилось. Они все разбрелись, кто куда, пытаясь понять, где очутились.

Пегая кобыла, ведомая одной ей известной силой, привела их на опушку леса, на небольшой пригорок в излучине узенькой, вертлявой речки, по болотистому берегу которой горделиво выхаживал бело-черный аист. Он искал в осоке лягушек, а людей не искал. Он поглядывал на них искоса, не воспринимая всерьез. Они выглядели слишком жалко и потрепано, чтобы внушать страх столь важной птице.

Но аист здесь был не один, из-под их окровавленных ступней то и дело вспархивали пестрые пигалицы. Разбросав повсюду свои крапчатые яйца, и не ожидая подвоха, они теперь волновались и возмущенно вскрикивали, желая отвлечь людей от драгоценных гнезд. Но чьи-то спущенные с рук дети уже лакомились редким блюдом – вскрывали ногтями и выпивали до дна крапчатые яйца. Не жалея пигалиц, как никогда не жалели их.

Вокруг шумел едва зазеленевшими осинами лес и пронзительно пахла мокрая, пробудившаяся, зовущая соху земля, они трогали ее руками, сжимали в горсти и, припадая к ней, целовали, словно вновь обретенную мать. Они поняли, что пришли, что их путь, наконец, завер-

шен, и вот то место, та земля, тот лес и та речка, что станут отныне их домом. Не тем, что они когда-то покинули, но тем, что сегодня обрели.

Всадник ухмыльнулся в черные ниточки усов, глядя на их неумную радость, и помахав на прощанье нагайкой, что так ни разу и не пустил в ход, поскакал куда-то дальше. Он продолжил свой путь, который, в отличие от их пути, нигде и никогда не заканчивался. А они остались на пригорке, усталые и почти счастливые, оставив в прошлом и всадника, и дорогу, и пегую кобылу, стершихся из их памяти быстрее, чем кожа на босых ногах.

Ляхово

У всего в этом мире есть хозяин, и у их земли тоже был, они об том догадывались, но не спрашивали. Не спрашивали можно ли боронить чужую пашню, валить чужой лес, ловить чужую рыбу, собирать чужие грибы и ягоды. Не спрашивали, потому что не у кого было. Разве что у аиста, что с завидным упорством прилетал в свое гнездо каждую весну. Он-то наверняка знал правду, но не мог ее рассказать.

Эта редкая в здешних краях птаха почему-то выбрала жизнь рядом с ними, и они старались ей не мешать, отдавая должное и ее красоте, и заведенному раз и навсегда порядку. Аист, конечно, был не один и тот же, уже много поколений сменилось и в огромном гнезде, придавившем старую ель, и в деревне, разместившейся неподалеку. Но для всех он стал будто бы вечной райской птицей, посланцем с небес, возвещающим, что очередная зима закончилась. А еще он казался им таким же, как и они изгнанником, обретшим долгожданный покой на новом чужом месте.

Минуло уже лет тридцать с тех пор, как первые из них припали губами к тщедушной здешней земле с благоговением и надеждой. Только старики, что прежде были детьми, рассказывали внучатам сказки о всаднике в татарском платье и пегом хвосте пегой кобылы, что привели их сюда давным-давно. Внучата не очень верили, потому что для них это место и эта жизнь существовали всегда и обещали существовать еще очень долго, постоянно и неизменно.

Деревенька их давно расстроилась крепкими избами, обзавелась банями и овинами, распахла опушку, завела кур, коров и лошадей, перезнакомилась и переженилась с соседями и даже обрела собственную церкву, в честь Василия Великого освященную. Прочно они вросли сюда корнями и не рвались возобновлять прежний путь или начинать новый, куда бы он их ни привел, и что бы им ни было обещано.

Только от соседей да церкви молва видно и пошла. Храм на господской земле стоял, и все окрестности под поповским приглядом были. Молва, правда, долго шла, пока судили и рядили, пока друг к другу приглядывались, пока обживались и укоренялись – те самые тридцать лет и минуло. Тихие да спокойные, которых ни до, ни после у них не было и быть не могло.

Да сколько веревочке не виться, а конец будет. Пришла новая весна, считай, что тридцать первая, прилетел аист, не нарушив установленного порядка, и вслед за ним показался на пригорке незванный гость, что хуже татарина.

На добром вороном коне въехал в деревеньку боярский сын. Молодой, ретивый, шапка лихо набекрень заломана, а глаза под ней синие, что лен, и глядят дерзко да с вызовом, мол, не упрашивать вас пришел, а волюшку свою велеть.

Конь-то у боярского сына был добрый, да на шапке меховая оторочка имелась, будто даже из соболя, только епанча у него вся в кривых заплатах, а на кафтане шитье выцветшее и подол-то весь обтрепан. Стало быть, нехороши дела у господ, стало быть, с них подати да недоимки драть начнут, за все года вольный жизни расплатиться придется. За все что делали и не делали, за все что брали и не брали, за что знали и за что не ведали.

Стояли они перед ним, стыдливо опустив глаза, ломали в руках снятые шапки, и прикидывали, что им грозит за своеволие. По всему выходило – худо. Но сын боярский не был скор на расправу и с повелениями не спешил. Чинно весь их строй объехал, каждому в лицо

заглянул, придирчиво глянул на избы, проехался вдоль пашен, спустился к реке, цокнул на сети и езы, без позволения ставленные и, прикинув в уме видать, сколько с них причитается, вернулся к строю неровному и спросил вдруг:

– Вы чьих будете? Какого роду-племени? Откуда прибыли?

Переглянулись они и не знают, что ответить. Откуда прибыли? Как ответишь, коли здесь и родились, и выросли, и все им знакомо и дорого, другой земли не знаю и знать они не хотят? Но по всему было видно – не такого ответа боярский сын ждал. А какого?

Тут вышел вперед чудака-старичок, приживала у родственников, один из тех, кто еще помнил о пегой кобыле. Почесал он затылок, помялся и бросил небрежно:

– Да, боярин, родители мои сказывали, что мы с ляшской стороны пришли. Ляхи мы вроде...

Боярскому сыну слова эти не по нраву пришлись, он поморщился и в нагайку свою покрепче вцепился. В ту пору как раз с ляхом война и шла, бились за то, чья возмет.

– Но православные мы, боярин, вот, те крест, православные! – старичок широко перекрестился и поклонился в пояс, поспешив поправить дурное их положение.

– Ну раз ляхи, то пускай будет сельцо Ляхово. Сельцо Ляхово Афанасия Матвеева сына Мичурина, – сменил гнев на милость боярский сын.

– А кто это? Сын Мичурин? – спросил местный тугодум, прикрыв глаза рукой от палящего солнца.

– А это я и есть. Теперь я ваш хозяин, и вы должны во всем меня слушаться. Понятно?

Они дружно, но не весело закивали. Слушаться им никого не хотелось. Жили ж свободно и вольно, как умели, и неплохо жили, на кой им над собой начальство? Поить и кормить его только, а толку? С гульки хрен?

– В Москву еду, служить у царя стану и невесту себе подыщу, а вы пока мне избу срубите, да обставьте всем, чем положено, чтобы жить где было, сообразно моему положению.

– И всего-то, боярин? – обрадовался тугодум, но ему тут же по затылку от соседа прилетело за лишний спрос. Нечего жаловаться, что мало потребовали.

– И все. Как вернусь – решим, что дальше делать. А пока, бывайте, – махнул боярский сын им рукой и, прищипорив вороного, ускакал на юг, искать счастья и царевой милости.

А жители новоиспеченного Ляхова отправили гонца в церкву – молебен служить по добром боярину Афанасию Матвееву, чтобы все у него в стольном граде сладилось, но что б подольше он оттуда в вотчину свою не возвращался.

Избу справить – дело нехитрое. Выбрали место повыше, да посуше, да свидом на речку их вертлявую. Отрядили лучших плотников, соседей в помочи позвали, отдали на постройку лес, для себя с зимы заготовленный, и за месяц поставили хоромы с теремом и резьбой. Иконы по дворам собрали, за утварью на ярмарки съездили, половички да рушники бабы выткали да вышили, лавки и столы и те на совесть сколотили – славно получилось; любо-дорого посмотреть.

Только смотреть было некому. Ни через месяц, ни через два боярский сын не приехал. Лето закончилось, урожай собрали, снегами все замело – а никаких вестей от Афанасия Матвеева не получили.

Ждали поначалу, не то, чтобы с надеждой, скорее с опаской, а потом и опасаться перестали. Потекла их жизнь привычным образом без суеты напрасной и указаний лишних. Одни хоромы срубленные об их невольстве напоминали, но скоро и крыша прохудилась, и сруб накренился на глинистой их земле, а сквозь ладно сколоченное крыльцо стали прорастать осинки да вербы – им только волю дай, все сожрут и памяти не оставят, что когда-то тут люди жили.

В покосившихся и разъехавшихся хоромы стали прятаться и играть детишки, половички и рушники истлели, иконы обратно позабিরали, утварь растащили... Порывался было староста

поправить развалину, да никто его не поддержал, так и рухнули боярские хоромы, истлели и обратились в прах, из которого и возникли.

А куда пропал Афанасий Матвеев сын Мичурин, кто ж знает. Может, в сражениях с ливонцами сгинул, славы и добра доискиваясь, а может, так до Москвы и не доехал – попался лихим людям, за коня да шапку и прирезали, и нагим и босым в овраг скинули, где прежде их отставшие лежал. А вдруг и молебен силу возымел, большим человеком в стольном граде сын Мичурин сделался и о горемычном сельце своем позабыл.

Одному Господу Богу-то и ведомо, не нам сирым и убогим.

Монастырь

Когда пришли первые троицкие чернецы, их встретили приветливо. Напоили пивом, накормили пирогами и уложили спать в лучшей избе на лучшем месте. Они говорили, что странствуют, что ищут место для нового монастыря, что несут сирым да убогим слово Божье. А еще рассказывали об обители, о братии, о ее неустанной молитве за народ русский, за царя-батюшку, и о Сергии сказывали, что игуменом всея Русской земли зовется.

Они слушали чернецов, внимали, чему-то дивились, чему-то возмущались, о чем-то расспрашивали, но ничего дурного ни в ни них, ни в их рассказах не видели.

Но с каждым годом, каждым месяцем, каждым днем, троицких посланников становилось все больше. Чернецы оседали в господских домах приживалами, ставили скиты в лесах, подменяли священников в церквах. Прежних странников и молитвенников сменяли чернецы на добрых конях, в сафьяновых сапогах под рясами и глазами, наполненными не благодатью, но алчностью.

Поползли по деревням слухи, что смущают и соблазняют чернецы льстивыми речами своими господ Мичуриных, что обещают им царствие небесное и вечное поминовение за землю и дома их, и что то одни боярские дети, то другие уходят в монастырь, отдавая ему и луга, и поля, и сенные покосы, и рыбные ловли, и леса, и пустоши, и даже населенные места со всем, что на них ни есть.

Словно туча грозовая, словно река половодная, словно поветрие моровое расползались владения троицкие по окрестностям. Ненасытной звериной утробой поглощали чернецы обедневшие вотчины разоренных войнами да поборами боярских детей. Иные за счастье считали пойти в монастырь хоть слугой последним, отдав батюшке-архимандриту все, чем владели. Лишь бы была крыша над головой, да краюха хлеба, да новая ряса с подрясником вместо давно прохудившегося, полуистлевшего кафтана.

В Ляхово и очнуться не успели, как оказались одни-одинешеньки, окруженные со всех сторон огромной Троицкой вотчиной, закабаленной и стонущей под непосильным гнетом церковников.

То им соседи сказывали, охая и ахая от наложенных на них барщин, оброков и уроков. Прежде дети боярские просили скромно: долю малую от урожая, от того, что сами ловили и ели, да царские подати, как заведено веками. Теперь же чернецы требовали на монастырской земле работой, которой конца и края не видно, требовали грибов и ягод, подвод с рыбой, целебных трав, меда, воска, березового сока, беличьих шкурок и ушей заячьих – другой-то дичи в их лесах не водилось... Сказывали, будто однажды архимандрит захворал и, послушав лекарей иноземных, велел троицким крестьянам собирать муравьев, мол, муравьиным соком велено ему было спасаться. Чего только не выдумывали чернецы окаянные, до власти и богатств дорвавшиеся. Прежде впроголодь жили, а нынче навестывали, никак насытиться не могли.

Не ведавшие над собой никаких хозяев, не желавшие терять столь полюбившуюся им волю-вольную, ляховцы лихие присудили на сходе чернецов к себе не пускать, а коли сунуться

– встречать вилами, топорами и дрекольем, что кому под руку подвернется. Даже бабы сговорились поподчевать троицких ухватами да граблями.

Так они и встретили старца Паисия, что приехал к ним договариваться – озлобившись и ошетинившись, будто ежи перепуганные.

Старцем Паисий был по чину, но не по возрасту. Вряд ли ему боле сорока лет минуло. Знали они, что он еще юношей безусым подался монастырь, и земли свои, вместе с церковью их родной, с собой прихватил. За щедрый вклад и службу честную и примерную, дослужился он до троицкого соборного старца и послан был обратно – налаживать порядок в огромной, но то глухо, то громко волновавшейся вотчине.

Приехал Паисий в беспокойное Ляхово один, и как положено старцу безоружным, в одной простой черной рясе и стоптанных лаптях, что из-под нее выглядывали. И кобылка под ним была худая и тощая – в чем жизнь только держится, даже окрасу невнятного: ни то серого, ни то белого. Издалека и вовсе казалось, что черный кот на большом мышке едет. Подивились ляховцы смелости старца и виду его благообразному, но виду не подали и дреколья своего не опустили. Знали они как чернецы прикидываться умеют и кем после оборачиваются.

– Вы чьих будете? – спокойно спросил Паисий, облокотившись на луку седла. От этого движения ряса на нем натянулась и обрисовала крепкие руки и могучую спину – он мог постоять за себя и в кулачном бою, коли придется.

– Мичуринские мы, – огрызнулся кто-то из третьего ряда. – И троицкими не будем! Верно говорю?

«Верно!» – протяжно подхватили остальные ляховцы, и угрожающе потрясли топорами и дрекольем.

– Опоздали вы братцы, вы уж пару лет как троицкие, – ухмыльнулся Паисий. – Прежде дядьке моему двоюродному принадлежали, потом племянникам его, потом их детям малолетним-сиротам, вот, они по сиротству своему вас монастырю и отдали во владение, за неумением и ради святого желания посвятить жизнь свою господу нашему, – он набожно перекрестился и поднял глаза к небу. Они тоже невольно подняли глаза и увидели пролетающего мимо них аиста, ни то троицкого, ни то мичуринского, ни то своего собственного.

– А мы грамоте не обучены! Откуда ж нам знать, что ты не врешь? Не будем Троице подчиняться, хоть кого пусть присылают, так архиматриту своему и передай!

Паисий выпрямился, приосанился и, ни слова ни говоря, свернул с перегороженной дороги на межу. Кобыла у него была послушная, маленькая, шагала она по меже осторожно и бережно, след в след, будто лисичкой была, а не лошастью, даже край межи под ней не обсыпался.

– Что это тут у вас? Рожь али жито? – Паисий по-хозяйски окидывал взглядом их зеленеющие озимые поля. Их поля – не троицкие! Их, не троицким потом и кровью политые!

– Рожь! – выкрикнул кто-то из толпы, но тут же получил по затылку за слова лишние, как давно у них было заведено.

– Только не родится тут рожь, отче! Сами впроголодь живем, – нашлась, снова все поправить, румяная бойкая баба, махавшая прежде коромыслом.

– Впроголодь, говоришь? – недоверчиво покосился на бабу Паисий. – А что река?

– Да что река, отче, два окушка за все лето выловим – великое счастье и удача будут. То она когда была остречной, позабыли уже, нынче в пору пустошной звать, – подхватил бабы завывания хитрый староста.

– Что ж Афанасий Матвеев с вас и не брал ничего?

– Не брал, отче, жалел горемычных. Хороший хозяин был, земля ему пухом, – уверенно поддакнули из толпы. Хоромы-то боярские сгнили совсем в землю вросли – не сыщешь. Только один аист по ним и бродил в поисках лягушек. Вот и сейчас вышагивал, не обращая внимания

на людскую суету. Знал он, что и это завершится, как и прочее закончилось, а потому смысла нет на каждый шум оборачиваться.

– Ничего не растет? Совсем?

– Земля тут дурная, отче! Токмо хрен один! – махнула прежняя баба коромыслом в сторону дальнего поля, сплошь покрытого ковром из жестких зеленых листьев.

– Ну хрен – это вещь добрая, в чистый понедельник и вовсе первая, а квас с хреном вкусен и пользителен для крепости духа, в жару особенно. Верно говорю?

Кто-то кивнул и снова получил от соседа подзатыльник. Мол, негоже. Они, между прочим, поколотить старца собирались, а не соглашаться во всем.

– Вот, хрен вашим оброком и будет, коли он главное ваше богатство, – хмыкнул Паисий. – А еще отрядите мне двух плотников и немного зимнего леса – будем у Талицы обитель закладывать. И с соседями договоритесь, кому когда удобного монастырскую землю пахать.

Окончил свою речь Паисий, развернул кобылу почти на месте, лишь слегка рожь примяв, и степенно съехал с пригорка в низину, никем не побитый и не остановленный.

«Легко отделались», – подумали ляховцы и разошлись по домам, побросав дреколье обратно в лес, а кто и с собой прихватил – на всякий случай.

Федор

Беда пришла на землю Русскую, растерзали ее, перепортили и чужие лютые вороги и свои нерадивые отпрыски. Запустили луга и пашни, разорились города и деревни, истлели в огне пожарниц монастыри и церкви. Заполонили леса и дороги лихие люди, бродяги и нищие, все зашевелилось, сдвинулось с места и покатило с горки, словно снежный ком, сминая и крестьян, и бояр, и чернецов, и всех, кто не там и не в то время попадался.

Опустело Ляхово. Побросав все посевы до срока, мужики ушли. Гонимые неведомым внутренним зовом, они уходили искать счастья в чужие края и дальние страны. Кто шел биться с басурманами по велению души и совести, кого манила вольная разбойная жизнь, что легче и богаче пахоты, а кто велся на клич царя истинного, обещавшего все отобрать и поделить, и раздать заново, не по чину или роду, а по справедливости.

Уходили они и потому, что уже ушли другие, и тоска с одиночеством снедали их, не давая покоя. Бросая все, отправлялись в безвестные странствия целыми семьями, тяготясь монастырскими требованиями и церковными заповедями. Но чаще, покидали жен и детей, обещая обязательно вернуться, и никогда не возвращались. Лишившись кормильца, женщины учились пахать и сеять, косить и молотить, иногда сами впрягались в сохи и бороны вместо коней, но получалось плохо. Голод и болезни забирали свое, оставляя пусые остовы изб. Вслед за стоявшими здесь боярскими хоромами распозалась, разваливалась и порастала быльем некогда крепкая и бойкая деревенька.

На всю округу остались только они вдвоем: две худые, истощенные, изможденные женщины, с впалыми от горя и недоедания глазами. Две женщины, их суп из лебеды, и такая же тощая, давно не дававшая молока, не обещавшая дать и мяса, корова. Они жили вместе, держась друг за друга и за память, что еще была с ними. Они ждали смерти и топили печь обломками чужих домов, в надежде, что она придет на дым и положит конец их бессмысленным страданиям.

Но смерть все не приходила, зато однажды пришел аист – их последний сосед и бросил на покосившееся крыльцо с проломанными ступеньками большую лягушку. Наверное, решил, что им нужнее. Щелкнул клювом и снова улетел на Остречину, не прося ни награды, ни благодарности. Лягушку освежевали, сварили в крутом кипятке и съели. Было вкусно, но было мало.

Они пробовали ловить лягушек сами, но те лишь посмеялись над их неуклюжестью. Пришлось вернуться к лебедю, и вновь и вновь пережевывать зеленую безвкусную жвачку вслед за тощей коровой...

Когда в их избу постучали по среди ночи, дочь подскочила, почему-то решив, что это снова аист. А вдруг он решил взять на свое попечение двух лишних птенчиков? Говорят, они и рыбу ловят, ну, вдруг? В животе так урчало, что она распахнула дверь, не спрашивая.

Конечно, стучался не аист. В открывшийся проем, лицом вниз рухнул человек. Он держался за бок и тихо стонал. Он пришел на дымок, валивший из окон и дымохода. Пришел не чтобы подарить смерть, но чтобы получить помощь.

Мать и дочь переглянулись, и не решились отказать, взяв грех на душу. Кое-как затащили они пришедшего на лавку, подожгли лучинку, и увидели, что зипун его перепачкан кровью и залепан грязью, и что кровь продолжает сочиться из располованного бока и капать на пол, разукрашивая его красными пятнами.

Мать когда-то слыла в деревне знающей, а потому быстро вспомнила, какие травы да коренья в этом деле помогают. Пошуршала по сундукам, нарвала полотенец, срезала впекшуюся в рану рубаху и быстро перевязала пришедшего.

Три дня и три ночи они не отходили от раненого. Меняли повязки, вытирали пот со лба, поили отварами с ложечки. И не заметили сами, как обрели силы, как перестали думать о смерти, как снова стали молиться в красном углу, не за себя, но за него. Чтобы выжил, чтобы встать на ноги, чтобы со всем справился. Коли выбрался, коли добрался, коли зашел в единственный непустой дом, значит были у Господа на него свои планы?

Мать-знахарка даже взялась за корову, стала отпускать ее на дни и ночи пастись на лугу, шептала над ней заговоры, мыла ей вымя отварами, обходила хлев с иконами, и сумела своими стараниями и радениями уговорить-таки скотину снова давать молоко.

На молоке и травах поправился раненый, окреп, поднялся с лавки и заговорил, хотя никто у него ни о чем не спрашивал. Назвался он Федором, сказал, что напали на него лихие люди, все отобрали, жестоко поколотили и в лесу бросили. Как он из лесу до сюда добрался – не помнит, и как рану получил – тоже. Может, лихие пырнули, а может, и сам на что напоролся, дороги не разбирая. Родства своего он не помнил, и кем прежде был, и что забрали у него, и вспомнить это не стремился. Бог вещь, что в прошлом таится? Жив, хдоров почти, и на том спасибо.

Женщины его рассказу поохали-поахали, пожалели и сделали вид, что поверили. Для чего им правда, коли человек хороший?

А Федор оказался хорошим человеком, дельным. Не спешил покидать избу – спешил поправить. Крыльцо починил, колодец почистил, в лес стал ходить на охоту – добычу приносить. Если прежде ничего не водилось в окрестных лесах, акромья белок да ворон, то теперь в оставленные людьми земли потянулись, набравшиеся смелости косули и лоси, а иногда удавалось Федору из самодельного лука подстрелить лесную птицу: большого глухаря или куропатку или даже голубя – все мясное.

Пришло время – накопил Федор сена, а к осени нашел поле брошенное с рожью заколовшейся. Женщины сжали, а он отгаскал снопы на своем горбу и обмолотил на току.

Потом отловил в окрестностях чьего-то брошенного коня, давно недоенную корову и молодого бычка прилудившегося. Продал на ярмарке ближайшей молочные скопы – купил курочек и гусей. Настоящим хозяином Федор сделался, а мать с дочкой тому не противились – во всем с ним соглашались и поддакивали, боясь спугнуть нечаянную свою удачу.

Год они так прожили – не семьей, но чем-то общим. А через год решился Федор и повез дочь знахарки под венец в дальнюю, чудом сохранившуюся в огнях и пожарищах церкву. Старый поп их благословил и повелел плодиться и размножаться – заселять разоренную землю заново своими потомками.

Так вернулась в Ляхово живая жизнь, и больше уж никогда оттуда не уходила.

Недоля

За Федором потянулись и другие. Такие же побитые, покалеченные, потерявшиеся, больше похожие на одичалых собак, чем на людей, они разбрелись по окрестностям, выбирая избы, что еще были целы, или ставили новые наскоро или годами ютились в шалашах и сарайчиках, не желая больше странствовать, но и не зная, как остаться. Одни приходили сами, видя пустоши, других пригоняли монастырские, вылавливая из бегов или заманивая землями, жаждущими распашки. Неустроенность и разруха сменялись запахом рубленых бревен и свежесваренного дегтя – верных примет зарождения новых бесчисленных починков, рамешек и доров.

Чернецы тоже возвращались. Тихонько, боязливо, как тараканы, стараясь никого не раздражать и не будить уснувшее было лихо. Монастырек они восстанавливать не стали – поселились за высокой оградой соседней церкви, оцетинившись блестящими ружьями, и не доверяя никому, даже себе. Ни на чем не настаивая, но явно заявляя права на всегдашние свои владения.

Поселяне тому не противились, сил у них на бунт не было, они, словно скотина в мороз, старались держаться поближе друг к другу, и у чернецов искали больше защиты, чем ответов. На дорогах и в окрестных лесах все еще сновали шайки оборванцев, едва ли помнящих, как их сюда занесло и зачем.

Хозяйство Федора, прозванного соседями Боковым из-за давнишних ран и кривой походки, быстро разрасталось, множилось и крепло. Дочка знахарки не могла нарадоваться на своего работающего, спокойного и рассудительного мужа, с которым не знал горя, и к которому все прочие обращались за мудрым советом. Все у них было хорошо и споро, только, вот, не давал Бог детей. Она уж и в церкву ходила, и свечки ставила, и молилась как умела и могла, и вспоминая заветы покойных мамки и бабки, пила разные травки и шептала разные заговоры – ничего не выходило. То ли заглохло и протухло в ней все женское, пока Федора ждала, то ли поломалось оно, когда лебеду и лягушек ела, то ли не суждено ей было обабиться.

Она даже стала поглядывать с завистью на аистное гнездо, в котором несмотря ни на что каждую весну появлялись пушистые серые птенцы, громким щелканьем провозглашавшие раз за разом победу жизни над смертью. Ее же гнездо год за годом оставалось пустым, тихим, и глухим к ее мольбам.

Федор молчал. Он вообще больше молчал, чем говорил, от чего другим казался угрюмым. Но она знала, что за немногословностью и соразмерностью, прячется вовсе не злоба, а тепло, которое легче отдать, обняв, нежели наговорив с три короба.

Он ее не ругал, не обвинял, ни о чем не спрашивал, как будто все шло своим чередом и как требуется. Но от того было еще страшнее и болезненнее, она успешно изводила себя сама, коря за ущербность и за мучения, на которые его обрекает.

Однажды она осмелилась предложить мужу жениться снова, а ей куда-нибудь деться, хоть в монастырь, чернецы ведь подскажут женскую обитель, подходящую для ее пустоты. Но Федор таким одарил ее взглядом, что больше дочка знахарки об том не заикалась.

Уж десяток лет минуло с их венчания, когда вдруг что-то внутри нее зашевелилось. Она давно уж не ждала и не верила, почти смирилась с горькой своей недолей, и потому с большим опозданием сообразила, что наконец-то дождалась. Мужу ничего не сказала, боялась, что ошиблась, что не угадала, прятала все за юбками и передниками, да и несложно утаить-то от мужика, не больно они догадливы.

Только когда рожать стала – позвала его в помощь. Бабок-то не было в округе. Федор не испугался, не обрадовался, не удивился – ну рождает жена, подумаешь, со всяким может случиться.

Она очень старалась, а он от нее не отходил, все делая расторопно и несуетливо, будто всю жизнь служил в повитухах – но не помогло. Их девочка родилась мертвой, обвитой пупо-

виной и совсем синей. Даже окрестить ее не получилось. Так и осталась дочка их безымянной и бесприютной – таких и в рай не пускают, и в ад не берут.

Без плача и причитаний, похоронили они единственного своего ребенка под порогом, как велел обычай. Дабы каждый входящий в избу, осенял и себя, и его крестным знамением.

Только не заходил к ним никто целыми месяцами, а сами они не всегда вспоминали, что надобно перекреститься, войдя в дом – вот и нарушился заведенный порядок, и пошло все у них наперекосяк и наперекор уготовленному.

Кикимора

Под порогом зрело нечистое. Зрело, наливалось соками, разбухало и превращалось, как превращаются бабочки в коконах. Наконец, наступило его время, и нечистое вылупилось, потянулось, отряхнулось, уперлось в порог тонкими пальчиками и выломало его.

Выбралось на волю, потянулось, отряхнулось, осмотрелось, принюхалось и прислушалось. Где оказалось? Где очутилось? Где житье-бытье налаживать предстоит.

Кругом была изба, добро сколоченная, где-то подлатанная, черным дымом опаленная и вкусно пахнущая им, а еще поставленным в печь хлебом и травами, развешенными на веревках под потолком. Ладное место, есть, где разгуляться, есть, где набедокурить.

Нечистое потянуло пряный воздух носом и чихнуло, подняв с земляного пола клубы черной пыли. Пыль его порадовала, как всякое неурочное и грязное. Оно потеряло лапки и еще раз оглянулось по сторонам, выискивая с чего бы начать. Попалась мышь, куда-то спешащая по своим делам. Нечистое пнуло ее ногой, чтоб не мешалась, та недовольно пискнула, и смылась восвояси, не желая иметь с ним ничего общего. Звук нечистому понравился, но показался слишком тихим, хотелось громче, как можно громче. Заметив пустую кадку, нечистое в нее запрыгнуло и постучало коготочком по железным скобам. Звучало лучше, но все равно недостаточно хорошо. Опрокинув кадку, нечистое подбежало к печи и подергало дверцы и заслонки – они дребезжали знатно, но не разбудили хозяев. Их сон был глубокий и безмятежный, как у всякого, кто много и тяжело работает и не мучается совестью.

«Хорошие люди», – подумало нечистое и толкнуло ухват на горшки, горшки упали и разбились, из опрокинутой крынки растеклось молоко. Нечистое окунуло в лужу палец и облизало его. Поморщилось – молоко давно прокисло.

Шаря взглядом в поисках чего-то занятного, нечистое заметило на лавке прялку и кудель. К прялке сильно тянуло и влекло, и оно поскакало к лавке вприпрыжку, встав на четвереньки для скорости и удобства. Нечистое высоко подскочило и вцепилось коготочками в кудель. Прялка под его весом накренилась и грохнулась на пол. Но хозяева продолжили спать. Даже не пошевелились.

«Уж не умерли ли они?!» – испугалось нечистое и по рукаву зипуна, которым они накрывались, вскарабкалось хозяйке на грудь. Уселось, навалилось всем телом и стало ей в лицо вглядываться – дыхание ловить. Хозяйка напряглась, попыталась повернуться, а когда не удалось, открыла один глаз. Нечистое улыбнулось и клацнуло зубами.

Хозяйка дернулась, подскочила на кровати и закричала тонким, будто чужим голосом: – Кикимора!!!

Так нечистое и узнало, что его звать-величать Кикиморой. От резкого хозяйкиного движения оно отлетело к печке, больно об нее ударилось и протяжно завывало.

Здесь и хозяин проснулся, глаза потер, сощурился – все пытался разглядеть про кого жена верещит и в кого пальцем тычет, но так ничего и не увидел и даже воя не услышал. Махнул рукой на бабские причуды, отвернулся к стенке и снова засопел, будто ничего и не было. А вот хозяйка до утра заснуть не могла. Зажгла лучину, углядела в ее свете устроенный переполох, схватилась за голову и принялась за уборку.

– Где теперь горшков столько найти, а кикимора? На кой ты это все переколотила и разбросала? И за что на нас такая напасть? Будто других не хватает!

Кикимора продолжала выть и потирать ушибленную голову. Нимало не беспокоясь о том, что натворила. Значит, так надо было, коли случилось. Неча жаловаться!

– Не за что, а почему. Скучно мне, а вы спите, как убитые! – проворчала она себе под нос, наблюдая одним глазом за тем, как хозяйка выметает голиком черепки. Проворчала тихо, чтобы не услышали, добилась ведь своего, можно теперь и отдохнуть.

Хозяйка отворила дверь, чтобы вымести сор из избы, и покачала головой, увидев выломанный порог. «Кажется, догадалась, – подумала кикимора. – А коли догадалась то и что с того? Все равно на меня никакой управы нет!»

В дверном проеме забрезжили предрассветные сумерки, во дворе залиvistо и раскатисто прокричал петух. Ночь привычно сменялась днем, и время нечистых заканчивалось.

Кикимора, увидев свет, зевнула и покорно засеменила в закуток. Там она свернулась калачиком рядом с жерновами, и почти сразу уснула, проспав день до ночи, набравшись сил для новых шалостей.

Глава 2

Хозяйка

– Хватит трюндеть про свою кикимору! Хватит! – хозяин зло ударил кулаком по столу, так что плошка с ложкой подпрыгнули. – Детев у нас нет, вот тебе по углам стоны и всхлипы мерещатся! А что горшки падают, так старая стала, видишь плохо, ставишь куда попало, они и не держатся!

Кикимора, наблюдавшая за всем с печи, притихла и сжалась. Давно уж она жила в избе, а еще ни разу столько громких слов от хозяина не слышала. Он все больше молчал да хмурился, а тут, как прорвало его. Видать, долго копились бабьи причитания.

Хозяйка стояла перед ним, опустив голову, и беспокойно теребила край передника. По всему было видно, как ей больно и тошно, и от проповеди этой, и от того, что почти совсем спать перестала. Кикимора веселилась, как могла, делала все, что ей было положено, а хозяйка от того бледнела лицом и на глазах сохла. Только кикимора и не думала ее жалеть, бабья доля, она известная – горькая. Перетерпит.

– А я тебе говорила: возьми новую жену, молодую, пока сам в силе. Вон, как девки на тебе в церкви заглядываются. Любая за тебя с охотцей пойдет!

– Перестань немедленно! – хозяин снова сжал руку в кулак, но не так, чтоб по столу ударить, а так будто хотел жену поучить, но глянул на нее маленьку да худеньку и передумал. – Лучше поди с курами разберись, совсем нестись перестали, а чай не пост!

– Так все из-за нее же – совсем тихо ответила хозяйка.

Хозяин в ответ на это только взревел, как медведь, схватил с лавки шапку и выскочил из избы вон, страшно хлопнув дверью. Аж дом весь затрясся, и кикимора чуть с печи не слетела.

Хозяйка подождала немного, а вдруг вернется, и когда не вернулся выпрямилась. Кикимора было подумала, что плакать будет, как до того делала, но она деловито сняла передник, накинула на плечи платок потертый, мужнин давний подарок, взяла под мышку бурак и тоже вышла из избы. Кикимора осталась одна – скучать и маяться.

Изба пустовала до самого вечера. Первым пришел хозяин со связкой подстреленных уток. Кикимора уже выучила его повадки – чуть что, ходить на охоту в лес или на реку. И срываться не на жене, а на птахах божьих и лесных зверушках. На этот раз, вот, уточки ему попались. Вернее, три уточки и селезень с лиловой шеей.

Утки кикиморе не нравились – от них несло тинной, то ли дело курочки. Права была хозяйка, это из-за не они перестали давать яйца. Когда надоедало хулиганить дома, кикимора пробиралась в курятник и там обнималась с теплыми и мягкими наседками. Пахло от них тоже не очень, но как-то по-домашнему уютно. Тискать и гладить курочек кикиморе нравилось, а им совсем не нравилось, что она с ними возится. Наседки пугались, кудахтали, прятались, забивались по углам и, похоже, из-за этого переставали нестись.

Не увидев хозяйки, хозяин сам ощипал уток, опалил им кожу и сунул в печь. Утки истомились, разварились, а хозяйка все не возвращалась. Пришлось хозяину ужинать в одиночестве и в одиночестве ложиться спать, а кикиморе – снова пробираться к курочкам. Мужики-то суровые, бесчувственные и спят крепко – взять с них нечего. Хоть колесом по избе ходи, все сшибай и ломай – ничего не заметят.

Не явилась хозяйка и на утро, и днем не возвратилась, и на следующую ночь оставила мужа наедине с кикиморой. Может, убедить хотела, что не мерещится? Или проучить? Или, не дождавшись его решения о расставании, сама ушла? Оставалось только догадываться.

На этот раз хозяин спал плохо, но не из-за кикиморы – волновался за жену, шарил рукой по пустому тюфяку и даже стонал во сне, будто хворый или раненый. Кикимора сидела рядом, не шевелясь, ей это тоже все не нравилось. А если хозяйка пропала или, правда, на совсем

ушла? Хозяин новую приведет? Новая, ведь и выжить может, коли прознает как. Или помрет, чего доброго, от тоски. Или на богомолье подастся, и останется она одна-одинешенька в пустой избе. Озlobится, с ума сойдет, станет девок на супрядках пугать, а то и кожу с них драть начнет. Не хочется

Не обнаружив жены и на второе утро, хозяин разволновался не на шутку. Пошел собирать соседей на поиски и вскоре изба переполнилась народом. Кто говорил, что медведь задрал, кто, что на клыки поднял, кто видел ее по дороге к чернецам, кто сетовал, что не видел

Кикимора путалась у деревенских под ногами, дергала за штанины и подолы, но никто ее не замечал, от чего ей становилось совсем грустно и не по себе. Может, все-таки не стоило так уж хозяйку изводить? Куда она теперь без нее-то? Боязно.

Когда все разошлись на поиски и даже голосов их не стало слышно, кикимора выползла на крыльцо. Увидев ее, на плетень приземлился аист. Он склонил голову на бок, поворачивал глазами и, видимо, сочтя ее неопасной, снова взлетел, продолжив свой путь к гнезду. Одобрив значит. Позволил на своей земле остаться.

Уже начало темнеть, когда на тропинке ведущей к дому показалась хозяйка. Все в том же платке, все с тем же бураком, уставшая, но будто бы похорошевшая, посвежевшая, разрумянившаяся, словно в лес за молодильными яблочками сходимшая.

Она улыбалась и напевала что-то себе под нос, вроде тех песен, что девки на поют Троицу. Кикимора смотрела на нее и нарадоваться не могла. Хотела кинуться на шею и просить прощения, и обещать, и клясться, что отныне и навеки будет ее беречь, а если и тревожить, то не по пустякам, только когда точно надобно будет, но быстро передумала, почуяв в хозяйкином бураке нечто особенное, нечто для нее одной приготовленное.

Хозяйка прошла в избу, хитро подмигнув кикиморе, стянула с головы платок, отерла им пот со лба и гордо водрузила бурак на стол. Мол, на, погляди, какая молодец! Че тебе принесла! Правда, она тут же воровато обернулась – проверить не идет ли кто. К колдовству ведь в деревне относились настороженно, да и суровый хозяин не одобрил бы, а в бураке было оно самое – нечистое. Видать, совсем отчаялась хозяйка, коли на крайние меры пошла.

Только принесла она не яд или порчу, а нечто иного свойства, полезительного, дабы кикимору умаслить и задобрить. И кикиморе это полезительное сразу по вкусу пришлось, аж затрясло всю от нетерпения. Не дожидаясь приглашения, она запрыгнула на стол, вцепилась в бурак всеми четырьмя лапками и вместе с ним скатилась на пол.

– Ну тебя, проклятая! Рано еще! Завтра покажу! – хозяйка замахнулась на кикимору платком, но не зло совсем, по-доброму, будто на дитя, что неурочно добралось до гостинцев. – Дай поспать немного, и все отдам, все покажу – обещаю!

Кикимора поверила и успокоилась. А еще вспомнила, как плохо им с хозяином было, и решила не испытывать судьбу понапрасну. Отпустила хозяйку поспать на тюфяк, а сама на печке калачиком свернулась.

Хозяин пришел за полночь, хмельной и потерянный. То ли жену искал и под конец отчаялся, то ли и вовсе все время в кабаке просидел, чего раньше за ним не водилось. Лучину он палить не стал, разделся кое-как в темноте и рухнул рядом с женой, только тогда и заметив, что она вернулась.

Кикимора, сидя в изголовье, видела, как он заулыбался в темноте, обнял хозяйку и прижался к ней всем телом, словно боясь, что она снова уйдет или раствориться во тьме, будто морок.

Красная нить

Никогда еще кикимора не ждала утра с таким воодушевлением. Вообще день не был ее временем, она предпочитала ночь, но сегодня было совсем другое дело. Сегодня ей обещали гостинцев. Не в шутку, а всерьез, это она точно знала.

Хозяйка поднялась рано, убрала волосы под платок и занялась привычными бабьими делами – впервые за несколько дней в доме запахло кислой опарой. Потихоньку все возвращалось на круги своя, вернее не совсем на свои круги и не совсем возвращалось. Что-то у них переменялось, кикимора это чувала уверенно, но пока не понимала, что именно произошло.

Хозяйка снова напевала за работой, негромко, но весело, будто продолжая песню, начатую еще вчера. Она даже легонько пританцовывала, кружась по избе то с ухватом, то с голиком, то с кадушкой. Хозяин тоже встал в хорошем настроении – не шумел, не требовал еды, только хлебнул кислого молока из крынки и, поцеловав жену в щеку, ушел в поле. Она от нечаянной нежности раскраснелась и притихла немного. Замерла, пытаясь наощупь оттереть молочный след с лица, и долго б так еще простояла, глядя на дверь, за которой скрылся муж, если б кикиморе это любованье не надоело.

Громко гикнув, она прыгнула с печи на стол, ловко перелетев пол избы и снова вцепилась коготочками в бурак. Сколько можно ждать-то?!

Хозяйка вздрогнула от неожиданного звука, но увидев кикимору на столе, широко улыбнулась:

– Ладно, пришла твоя пора. Только слезай с него, иначе не открою!

Кикимора фыркнула, но послушалась. Уж больно ей хотелось посмотреть, что хозяйка из лесу принесла или куда она там ходила.

Та осторожно приподняла крышку бурака, и в приоткрывшуюся щелочку тут же повалил густой, сладковатый, прежде незнакомый кикиморе душок. Он был таким плотным, что она могла его потрогать, пощупать и даже завернуться в него как мягкое теплое покрывало могла. Этот запах убаюкивал, укутывал и успокаивал. Прежде суетившаяся вокруг бурака кикимора вдруг остановилась и плюхнулась на край стола, свесив с него ножки. Она, как замороженная, теперь наблюдала за тем, что делала хозяйка.

А хозяйка уже сняла крышку полностью, вдоволь насладившись произведенным на кикимору впечатлением, и достала из бурака красную кудель, гладкий камешек с дырочкой и связку корешочков, что и были источником чудного запаха.

Красная кудель кикиморе понравилась, а вот камешек – нет. Несмотря на внешнюю гладкость – он казался ей колючим и острым, неприятным и каким-то чужим, опасным. Больше всего ее, конечно, тянуло к корешочкам, но хозяйка их не отдала, велела сидеть смирно и смотреть.

Хозяйка обмыла корешки в кадке, мелко-мелко нарубила, а потом еще и в ступе истолкла. Пропитанную соком кашицу завернула в тряпочку и снова ей кикимору обнесла. Та только изловчилась подставить раскрытый рот, чтобы украсть пару капель. Было очень вкусно, но мало. Хозяйка, заметив ее проделку, только покачала головой – что поделаешь, несмышлениш.

Узелком хозяйка натерла всю оставшуюся посуду, и кикимора поняла в чем замысел – теперь ни один горшок не будет разбит. Как она посмеет расколотить и опрокинуть то, что столь изумительно пахнет? Если все разбить-расколотить, то будут ли новые корешки и когда? Вон, весь узелочек хозяйка истратила, весь дух на горшки да плоски перевела, есть ли еще там, где она брала? Зимой так точно не отыщется.

– А это, – хозяйка показала ей камешек с дыркой, – я в курятник повешу. Куры, конечно, теплые, но ты совсем их замучила. Обещаю, что будут цыплята – буду одного тебе отдавать, на поиграться.

Кикимора вздохнула, но согласно кивнула. Ей не хотелось, чтобы хозяйка снова уходила, а хозяин опять ругался. Камешек, так камешек, ничего не поделаешь.

– Чтобы ночью было чем заняться – буду оставлять на прялке красную кудель. Что хочешь с нею делай, а нас не тревожь понапрасну.

Уговор казался заманчивым, только чувала кикимора, что быстро ей одна кудель наскучит, захочется чего поинтереснее.

Заметив ее сомнения, хозяйка добавила:

– И молока тебе буду наливать, вон там, – она указала пальцем. – За печкой.

«Маловато будет!» – подумала кикимора, но раньше времени зарываться не стала. Пусть сначала так. А там глядишь, и что еще выгорит. На том и порешали.

Ночью, когда хозяева уснули, кикимора попила, оставленного молока, и аж причмокнула от удовольствия. Плошка отдала молоку вкус и запах корешков, и предложенная пища пришла кикиморе по нраву, она была лучше, чем ей представлялась.

Поев, кикимора забралась к прялке и осторожно попробовала сучить нитку, как не странно, получилось сразу. Ее пальчики будто всегда знали, как это делать, будто для того и были созданы, а еще они знали, что красная нитка просто так не сучится, что есть у нее свой умысел, какой – только ей кикиморе и решать. К добру или к худу?

Кикимора почесала коготочком в затылке, глянула на спящих хозяев и затеяла шалость, чтобы их и себя развлечь и никакого уговора не нарушить. Она быстро-быстро перебирала пальчиками, щедро слюнявила кудель и нашептывала на нее, одни ей известные словеса.

Когда кикимора почти закончила – по раме кто-то постучал с обратной стороны, с улицы. Она подняла голову, и увидела сквозь муть бычьего пузыря, затягивавшего окно, большой черный глаз уже знакомой ей птицы.

– А, пришел, дурашка! Интересно стало что шепчу?

Аист слегка кивнул.

– Бдишь за вверенной тебе деревней?

Он снова кивнул.

– Ну тогда, вот, тебе за труды! – кикимора откусила кусочек нити, и протянула ее аисту. Ее лапки могли просачиваться где угодно, выходить не нужно было. Аист шелкнул клювом, принимая подарок, и бесшумно поднялся в воздух. Видящая в темноте, как днем кикимора, проводила его взглядом, и вернулась к работе.

Спряденная ею нить получилась ровная, крепкая (только ее зубами и перекусывать) и длинная-длинная – всю избу обмотать можно было, и еще бы осталось. Но у кикиморы была другая задумка, она ловко протащила нить под спящими хозяевами и перевязала их, перекрутила, словно баранью ногу на Рождество. Те, к счастью, не проснулись, а наутро нить исчезла, воплотив в жизнь задуманное кикиморой.

Выкормыш

Кикимора знала, что так будет: крадешь у доли – недоля свое возьмет. Хозяйка родами умерла – не сдюжила, все ж давно не молодуха. Произвела на свет хорошенького, крепенького мальчика, посмотрела на него и ушла ко Господу, или куда там на самом деле, кикимора не ведала.

В церкву хозяин их вместе на телеге и рано утром повез – гроб с женой и сверток с первенцем-поскребышем. Звать на похороны никого не стал, только аисту рукой махнул, мол, видишь, как оно все обернулось. Аисто голову запрокинул и защелкал то ли соболезнуя, то ли подбадривая – разве птиц этих разберешь?

Поп жену отпел, как полагается, а сына покрестил и назвал Селиваном, что значит, лесной. Сказал, что будет здоровяком, и еще всех переживет, только б кормилицу найти

Как же, переживет. Где кормилицу найдешь? У всех свои дети подрастают, кому чужой понадобится? Помрет без матери, тут и думать неча.

Вернувшись домой, хозяин швырнул сына в зыбку, словно полено, а сам взялся за бражку, и под нее, и под крики голодного и мокрого ребенка проговорил с кикиморой всю ночь.

Он по-прежнему ее не видел, но теперь твердо верил в ее наличие или хотел верить. Промолчав всю жизнь, хозяин, наконец, нашел кому выговориться, кому исповедаться за все свое убогое житье-бытье. Рассказал ей, как воевал, как бегал от одного Димитрия к другому,

от ополчения к казакам и обратно, как ни к кому не пристал, но что-то нагрбил, как с награбленным пытался уйти, но был пойман и избит, и как добрел до избы в беспамятстве, и как обрел здесь новый дом и судьбу.

Хозяин выл, плакал, рыдал, бил кулаком по столу и швырялся посудой. Вел себя, куда громче, чем кикимора или младенец. Причитал, что никогда б не взял другую жену, что ее смерть и бездетность – ему расплата за лихие годы. Скольких он прирезал, скольких выпотрошил – упомнишь разве? Поп в нем что-то такое чуял, дикое, и на исповеди выпытывался, но он все отнекивался мелкими грешками, что за каждым водятся. А если б покался? Может, простил бы его Бог? Может, не отнял у него жены? И по что ему сын теперь, коли на ноги его не поднять? Наревется, охрипнет и сдохнет. Не стоило с кладбища уходить, все равно возвращаться!

Кикимора слушательницей был благодарной, сидела на столе, не шевелясь, подперев лапкой голову и внимала. Сказки она дуже любила, а сказки о человеческих жинзях особенно. Слушала и молчала. Не то, чтобы сказать было нечего – не зачем. Да и не услышал бы ее хозяин. Одно она знала твердо – Селивану помереть не даст. Не для того она нить красную плела, чтобы его смертушке отдать, не для того. Сама себе игру выдумала, сама ей и займется.

Когда хозяин уснул, рухнув буйной головой на стол, она тихонько проскользнула в хлев, там в отличие от курятника камешек с дыркой не висел и вход для нее был свободным. В хлеву кикимора подоила корову, внучку той, что когда-то спасла хозяина и всех от смерти, и принесла молоко в дом. Положила в него хлебный мякиш, почти растворила, завернула получившуюся кашку в чистую тряпочку и, засунув младенцу в рот свой пальчик – накапала ему жижи с тряпочки. Совсем как корешкового сока себе когда-то.

Кикимора понимала: коровье молоко не человечесье, оно телятам хорошо, а младенцам не очень. Но она владела силой, и эта сила вместе с каплями молока струилась Селивану в рот. Он обязан был выжить, хотя бы всем вокруг назло.

На утро хозяин, увидев мирно сопящего розовощекого сына в новых чистых пеленках, конечно, удивился, но решил ни у кого не выпытывать, как так вышло. А когда Селиван проснулся и заверещал – сам пошел доить корову. Одолжил у соседей выдубленное вымя и рог, которым те своих детей докармливали, и сделался Селивану мамкой. С остальным тоже потихоньку освоился: сначала к нему вдова одна заходила в помочи, но потом он всему от нее научился, все у нее перенял и на порог пускать перестал. Она разобиделась страшно, имела виды, и кикимора была не против, и Селивану б пригодилась мачеха, но хозяин был непреклонен, однолюбом оказался. А, может, решил, что таков его крест и такова расплата, и нести их надо со смирением.

Кикимора, конечно, помогала, хозяин это понимал и не вмешивался. Как было при жене заведено – наливал ей каждую ночь молока и даже красную кудель оставлял. До прялки у нее редко лапки доходили, конечно, только когда Селиван засыпал, наколдовала ведь себе развлечение! Ему и пряла, и нити эти пригождались. Одной пришлось придушить лихорадку, что вздумала покуситься. Другую – смотала в клубок и затолкала поглубже в глотку ночнице, чтобы не орала и не будила Селивана. А матушке-оспе кикимора платок из спряденных нитей соткала на хозяйкиных кроснах – на откуп. Этой твари не сам хозяин приглянулся – насилу уберегла.

Когда Селиван подрост, хозяин привел в дом девочку-сиротку – взял в няньки, а относился, как к родной дочери. Сиротка, как все бабы, кикимору видела и болтать с ней могла. Они быстро подружились и стали вместе беречь своих мужиков. Кикимора-то за пределы дома выйти не могла – там ее сиротка и подменяла. А узнав про уговор и заветные корешки, девочка выведала, где их раздобыть, и с тех пор обновляла их каждый год.

Селиван кикимору не видел, но чуял, и худого от нее не ждал. Привык, что всегда, когда он дома, что-то рядом прыгает, да суетится. За руку одернет – чтобы не обжегся, рубашонку поправит – коли продырявится, волосы расчесет, когда спутаются.

Он думал, что так бывает у всех детей, и сильно удивился, когда узнал, что у прочих мать живая и за руку берет, так что ее руку чувствуешь. Наверное, тогда решил, что это душа материнская за ним приглядывает, а нянька с кикиморой разочаровывать не стали.

Вырос Селиван в парня крепкого, молчаливого и угрюмого как отец. Но и влитая в него сила нечиста даром не прошла. Чуть не по нем что, чуть где-то обиду увидит или несправедливость какую – глаза кровью наливаются, кулаки сжимаются – и держись тогда каждый, кто нечаянно под руку попадет. Врежет своим кулачищем, да так что не только юшкой кровавой умоется, но и в постель сляжет, а то и вовсе с нее не встанет.

Окрестная молодежь, потому его сторонилась, и байки всякие рассказывала, мол, Селиван-то Боков кикиморой выкормлен, оттого и души в нем две: одна человечья, другая бесовская. Не угадаешь, какая когда проснется. И откуда только слухи те взялись? Не иначе, как от разобиженной вдовы. Видать успела приметить, как кикимора зыбку качает и колыбельные младенчику поет.

А Селивану того только и надо было, чтобы лишний раз не трогали, сторонились. Помочь кому – сам вызовется, а задирать не следует. Правда, и девки его побаивались, как с таким жить, бешеным? Потому в жены он няньку свою позвал. Только она да кикимора знали, как с ним справиться, только они вдвоем ведали, где его добрая душа человеческая запрятана, что теплом на тепло отзывается.

Отец сыновьему не возражал – зачем чужую девку приводить, коли своя под боком? А что постарше – так и к лучшему, дурковать не даст.

Ну, и кикимора само собой не препятствовала, это ж она их руки, пока спали, красной нитью переплела – чтобы и не вздумали друг с другом распрощаться.

Бунт

– А ну, вали отсюда подобру-поздорову! Сто лет вас не видели и видеть не хотим! – бушевал Антон, грозя из-за плетня вилами. – Вона сколько людей в свой Питербурх забрали – ни один не вернулся! Еще и выход хотите, как при дедах было! Не многовато ли? Не лопните, ироды?!

Приказчик из монастырских молчал, только сильнее, до скрипа сжимал повод. Конь его то и дело мотал гривой и беспокойно перебирал ногами, хотя мог широкой грудью легко проломить хлипенькие ворота, за которыми стоял Антон. Правда, он и сам был не прочь снести разделяющую их преграду, не прятался – рвался вилами да кулачищами правоту крестьянскую доказывать.

Кикимора наблюдала за ними, сидя на пороге, и нарадоваться не могла на нового своего выкормыша. И статный вышел, и дерзкий, с железными суровыми глазами. Как зыркнет – душа в пятки уходит. К прежнему уговору, она себе еще одно условие у хозяев выторговала – одного ребеночка на воспитание брала, кого – сама выберет. Чай ребеночек интереснее, чем цыпленочек. Не такой мягенький, конечно, зато другим берет.

Бабы несильно-то и против были – и подмога дельная, и дите точно выживет, всем смертям назло, беспокоится не надо. А что вырастет чересчур рьяным да буйным – так, и без кикиморы подобное случается.

Рядом с кикиморой на крыльце жена Антонова стояла, Ирinya. Под стать ему баба, с огоньком, могла и горшком бросить, коли разозлить сильно. Бывало, промеж ними такие искры летали, что избу поджечь могли. Но милые бранились-только тешились. А вот другие невестки Ирinya побаивались, а свекровь, пока жива была, уважала шибко. Но теперь и ей силы духа и воли не хватило, постояла-постояла, да и кинулась в соседний двор – старосту звать, чтобы мужа образумил и утихомирил. И надо ж было ему сегодня в доме остаться, когда все братья на покос уехали!

Староста, к счастью, тоже никуда не поехал, и на Ириньину просьбу отозвался, в конце концов, это ж к нему приказчик пожаловал, положенное требовать. Они ведь все вместе, всей деревней отказались и лишние уроки выполнять, и платить больше, чем прежде требовали.

– Господин хороший! Ты прости Антона нашего за речи грозные, таков уж уродился. Но прав он – по-другому дела делаются, а не как вы захотели. У нас с монастырскими испокон веков один урок был положен – подвода хрена. Вот ее готовы вам привезти. После Успения соберем, погрузим и доставим, куда пожелаете. А большего не проси! – вставил слово староста, тихонько давя рукой на Антоновы вилы, мол, хорош, опусти и так договоримся.

Но как унять сына Бояркова, коли он раздухарился? Бестолковое занятие. Могут с Ириньей вдвоем на руках повиснуть – не угомонят.

Почему Боковы стали Боярковыми, кикимора не знала. Видать позабылся скривленный на одну сторону Федор, а память о том, что они тут еще с боярских времен, осталась. А может, за гордость их и неуживчивость, в шутку так прозвали? Могли б и Кикиморовыми сделать, но побоялись, конечно. Не только ярости их огромной, но и власти, что в руках держали. Беспокойные Боярковы сначала сами верховодили, а после к новым старостам прилипли. Староста распоряжается, а енти при нем, словно дружина какая. Не забалуешь и управы ни у кого не найдешь.

– Когда вы нас петербурхским отдали, будто скотину, попользоваться, они только подать государственную брали и оброк положенный, а вы чего удумали? Грибы-ягоды вам собирать? Землю вашу задарма пахать? Да нет уж давно никакой вашей земли монастырской! Все наше – крестьянское!

Приказчик нахмурился и так сильно сжал повод, что перчатки его на костяшках натянулись и чуть не лопнули, а конь под ним недовольно дернул головой, мол, ты чего там жмешь за зря?

Староста побледнел и замахнулся, чтобы вклепить Антону подзатыльник, но глянул на порог и осекся. То ли грозный взгляд Ириньи увидал, то ли про кикимору вспомнил.

Вот, о чем приказчику знать не следовало, так о том, что монастырская земля давным-давно переделена и распахана. А что ей пустой стоять? Ждать пока чернецы опомнятся? Это даже кикиморе было ясно, как белый свет.

– Что стоишь? Али хочешь вилы мои отведать, ирод?! – Антон выпростал вилы из-под руки старосты и, помахивая ими, угрожающе приблизился к воротам. Но приказчик судьбу испытывать не стал – дернул коня за повод, развернулся почти на месте, и был таков. Напылил, накопытил только так, что кикимора на пороге закашлялась.

– Ой чует моя душа, не закончилось ничего, – покачал головой староста. – И зачем дурное дело затеяли? Подтянули б пояса – отдали б им все, что причитается, и отстали б монастырские от нас

– Не отстали б, – свирепо процедил сквозь зубы Антон. – А то ты господ не знаешь, если две шкуры легко сдираются, можно и третью содрать. Сколько еще перед ними пресмыкаться и лебезить будем? Пушай знают, что мы гнемся, да не ломаемся, – он зло сплюнул на землю и пошел обратно в избу.

Кикимора ободряюще подмигнула, но он этого не видел. А жена, тревожась, закусила конец платка, но он того не заметил.

К Боярковым пришли на третью ночь. Ворвались в дом и выволокли на двор за бороды в одном исподнем. Антона и братьев его. В руках у ворвавшихся были длинные тонкие прутья, которыми они нещадно стегали вытасненных мужиков и попадавших под руку баб – жены их выбежали, кто со скалками, кто с ухватами, но силы были не равны. Досталось всей деревне, но больше всего двору старосты и Боярковым. Чужаки не знали пощады и грозили поджечь дома, если кто посмеет им перечить.

Одна Ирinya ускользнула, кикимора помогла ей пролезть в узкое оконце и та просто-волосая, задрав подол, понеслась по огородам, перемахивая через низкие плетни и оградки. Кикимора слышала, как они с Антоном ночами шептались. Знали, что придут наказывать. И знали, что делать.

Легконогая Ирinya неслась к ближайшей церкви – звонить в набат. Созывать в помощь всю округу, как было заведено при пожарах. Кикимора любовалась ею, со всех ног летевшей в ночном тумане, похожую больше на русалку, чем на живую женщину. И Антоном тоже любовалась, тот молча терпел порку, скрежеща зубами и страшно вращая железными злыми глазами, что без ножа умели резать, но ничего не могли против троицкой власти. И откуда только эти чужаки взялись, не солдаты ведь. Неужто монахи?

По всей округе разнесся с васильевской колокольни набатный трезвон. Сначала лишь один колокол неистовствовал, раскаченный Ириньей, но вскоре подхватили его все окрестные церкви. Не разобравшись, боясь пожара, зазвонили и на самом монастырском подворье.

И проснулись все крестьяне, и высыпали на дороги с ведрами, топорами и баграми, и потянулись во встревоженное Ляхово, сверкавшее неурочными огнями. Над дурными своими подопечными парил аист, всматриваясь в их суровые лица и прикидывая – не пора ли уносить птенцов из гнезда? Не доберется ли и до его жилища гнев народный, преград не знающий?

Сквозь колышущуюся, будто половодная река, толпу пробиралась Ирinya. Она возникала то тут, то там, просачиваясь, протискиваясь и проталкиваясь сквозь сомкнутые крестьянские ряды. Кикимора наблюдала с крыши, как Ирinya умело заводит и подначивает соседей, направляя их туда, куда ей с Антоном было надобно. Она и выла, и стенала, и рвала на себе волосы, и царапала ногтями лицо, и взывала к их совести:

– Люди добрые! Люди русские! Хватит терпеть гнет не посильный! Хватит думать, что коли в Ляхово пришли, то вас не тронут! Нечто вам плохо было под Петербурхом? Нечто хотите обратно землицу монастырскую, давно переделенную отдать?! Нечто хотите, чтобы обобрали троицкие и наши леса, и наши реки? Хватит! Намучились!

Кикимора различила ее голос, уже когда к деревне подходить стали. Но была уверена, что та еще от церкви старалась. Потому что крестьяне окружили Ляхово злые и ярые. Уже почти без ненужных ведер, за то с горящими факелами и страшно поблескивающими в их свете топорами.

Бросили тогда чужаки свое наказание, попятились, а деться то уже некуда – со всех сторон крестьяне напирают и требуют ответов. Завидев, что помощь пришла, очухались и ляховские, кого не засекали, и первыми одного из чужаков на вилы подняли. И сорвалось что-то, и хлынуло, и затопило головы, и потекла вдоль дорог по канавам кровушка русская

Насилу Ирinya пробралась к избе, ловко увернувшись от багров и топоров, крушащих все головы без разбора. Хлынувшая на Ляховскую улицу толпа превратилась в огромное многоголовое и многоголосное чудовище, скалящее побагровевшие клыки. Оно ревели и билось, снося все на своем пути, втаптывая в дорожную грязь чужаков, перемалывая и стирая в труху их кости. Не стоило троицким будить лихо, ой не стоило Хреном крестьянским следовало подавиться.

Вернулась к себе на двор Ирinya и вместе с кикиморой затащила исполосованного Антона в избу. Другие братья с женами куда-то делись, то ли попрятались, то ли влились в состав беснующихся. Узнавать было недосуг.

Уложили мужика на лавку, запарили в печи травы, на Иванов день собранные, распустили рубаху подранную на повязки – кикимора их замачивала с перешептыванием, а Ирinya раны смачивала, да перевязывала.

– Горе ты мое луковое! Говорила мне мать – не ходи за кикиморова выкормыша!хлопот не оберешься! А я не слушала, на вострый язык твой повелась, и руки сильные Эх, дура я была, Антош!

Антон давно очнулся. Милы и крепости ему на четверых хватило б, стараниями-то нечистыми. Он лежал ничком и тихо посмеивался бабьим причитаниям, а сам рукой под подолом жене ляжку наглаживал. Знал, что не в серьез она его ругает, как бы в серьез – в углу сидела и фырчала, а не возилась б с ним, как с маленьким.

– Лежишь тут при смерти, а все об одном только думаешь! Охальник! – встрепенулась Иринья, огрела мужа по затылку рушником, но ногу не убрала.

Кикимора суетилась подле, меняла окровавленные тряпки, таскала плошки с отварами и думала, что все у них будет хорошо.

Наутро прибежала золовка с монастырского подворья. Голова обвязана, глаза подбит, но жива осталась, чудом уж каким или молитвами чьими – неведомо. Рассказала, что приказчика троицкого забили до смерти, а всех монахов вместе с чужаками утопили в Мологе. Уплыли тела их куда-то вниз по реке Авось выловят и похоронят по-христиански, или в богомолку сложат, как безвестных, до следующего Семика.

Вечером и братья Антоновы с женами вернулись. Притихшие и тоже с больными спинами. Ничего не рассказывать не стали, за прежние работы принялись, будто ничего и не было, и не ходили они никуда. Иринья же допытываться до них не стала – было чем полезным заняться. Плетень, например, раскуроченный поправить.

Разбирательств не было. В монастыре сочли – себе дороже связываться. Больше никто с них лишнего не требовал. Новый троицкий приказчик вернулся к прежним Петербургским порядкам. Только на Кузьмодемьяна кур ему в благодарность приносили да иногда соленьями в пост подкармливали, а за что-то он честно деньгами платил, лишний раз стараясь не будить то, что притихло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.